

В.М. АКИМОВ

**«...Но люди и здесь живут!»  
(«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына)**

Александр Солженицын впервые вошел в наше сознание около тридцати лет назад. Читая тогда, в начале 60-х годов, «Один день Ивана Денисовича», большинство из нас, думаю, было потрясено прежде всего знанием, новым и страшным, о лагерной жизни при Сталине. Твердая рука разом сорвала завесу многолетней неприкосновенной лжи. Впервые открылся один из бесчисленных островков архипелага ГУЛАГ. Отброшенная завеса была хотя совершенно реальной, но и как бы не существующей. Одни из нас в самом деле ничего такого не знали и не могли даже представить, чтобы такое могло быть; другие догадывались, но отводили глаза, понимая, что посмевшийся увидеть, взглянуть в упор — погибнет. Ну, а миллионы, что населяли ту страну, — те оставались в ней, как правило, пожизненно. «И конца срока в этом лагере еще ни у кого не было», — думает про себя Иван Денисович.

Но тут пришел неумолимый март пятьдесят третьего. Затем нагрянул неизбежный пятьдесят шестой. Тьма хоть и густо заволакивала ту жизнь, но уже заметно поредела. «Один день Ивана Денисовича» выставил ее на свет божий.

«Слово правды весь мир перевесит»!

Ах как бросились через несколько лет снова «темнить» и затыкать ложью и угрозами пробитую Солженицыным брешь! Изю всех библиотек солженицынскую книгу — изъять! Считать за крамолу всякое неругательное упоминание о ней! А лучше всего — вообще ни слова, ни звука об «Одном дне»!.. И все остальные книги, ко времени насильственного изгнания писателя уже написанные каленым солженицынским пером, — «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», — все это преследовалось всей мощью государственной карательной машины.

Но правды Солженицына было уже не удержать. Стена запретов разваливалась быстрее, чем ее воздвигали и подпирали. Русский писатель, вставший едва ли не в одиночку против злобного многоглавого чудовища тоталитарной лжи и насилия, — победил.

Думаю, полезно напомнить здесь краткую историю создания «Одного дня Ивана Денисовича», изложенную в работе одного из биографов писателя.

«Один день...» «задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950–1951. Осуществлен в 1959 сперва как “Щ-854» (Один день одного зэка)» <...> После XXII съезда писатель впервые решился предложить что-то в открытую печать. Выбрал «Новый мир» Твардовского <...> рукопись удалось через голову редколлегии передать самому Твардовскому при точных словах: “Лагерь глазами мужика, очень народная вещь”. <...> Тот, легши вечером с ней “почитать”, через две-три страницы встал, оделся, перечел за бессонную ночь дважды — и тотчас же начал борьбу за издание. Наконец — «решение о напечатании рассказа принято на Политбюро в октябре 1962 года под личным давлением Хрущева». <...> Он появился в одиннадцатом номере журнала за тот же год. <...> Замысел автор объясняет так: “Как это родилось? Просто такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем <...> достаточно в одном дне все собрать как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 52-м году. <...> Семь лет она так лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! Со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. <...> Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком. Остальные лица — все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями”» (П. Паламарчук).

Теперь, когда Солженицын вторично стал доступен отечественному читателю, у нас есть возможность заново вникнуть в «Один день Ивана Денисовича».

И перечитывая повесть сегодня, ясно видишь: нет, все же она несла не только знание, пусть даже новое и страшное. Это был не только портрет одного дня нашей истории. Это и книга о сопротивлении человеческого духа лагерному насилию. Собственно, она и могла быть написана, потому что пером ее создателя водил несломленный дух.

Больше того, сюжет внутреннего сопротивления, сопротивления человека и ГУЛАГа заявлен на самой первой странице «Одного дня». Рано утром Иван Денисович Шухов, рядовой голодный лагерник, прикидывает, что накормить его могут в столовой, если собирать миски и носить их в посудомойку, но там — «если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму стучать ходит».

Вот суть лагерной философии! А как сказано, какая точность русского слова! Какой опыт вместились в трех фразах, определяющих границы человеческого выживания в лагере. Погибает тот, кто падает духом. Кто становится рабом больной или голодной плоти, кто не в силах укрепить себя изнутри, устояв и перед искушением подбирать объедки, перед немощью тела, надеющегося на исцеление, которое придет извне. А вернее всего погибает тот, кто нравственно падает ниже всех, кто губит свою душу, становясь доносчиком. («Те-то себя берегают, — думает Иван Денисович про себя. — Только береженье их — на чужой крови».)

Что же такое лагерь у Солженицына в этой повести? И как в нем человеку жить и выжить?

Лагерь — образ одновременно реальный и — ирреальный, иррациональный, абсурдный. Это и обыденность, и — символ.

Воплощение вечного Зла и обычной низкой злобы, ненависти, лени, грязи, насилия, недомыслия, взятых на вооружение системой.

У Твардовского есть размышление об «изнанке» человека, побеждающей его в моменты помрачения души и разума:

Ты не явь, а только сон  
Дурной. Бездарность и безделье  
Тебя, как пугало земли,  
Зачав с угрюмого похмелья, —  
На белый свет произвели...  
Ты — только тень.  
Ты — лень моя.

И солженицынский каторжный лагерь, один из ГУЛАГовского архипелага, — при всей страшной и несомненной реальности его существования в нашей истории, в судьбах миллионов людей — тоже своего рода знак помрачения души и разума, извращение смысла жизни народа и общества. Бездарная, опасная, жестокая машина, перемалывающая всех, кто в нее попадает...

Каторжный лагерь взят у Солженицына не как исключение, а как порядок жизни.

С первых слов интонация повести — «эпическая»: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота было долго звонить».

Человеку можно, собравшись с силами, сразиться с чрезвычайными обстоятельствами. Но как противостоять тому, что вошло в многолетнюю привычку?

В повести, однако, сталкиваются две «привычки»: вечная, народная, человеческая и — «временная», уродливо искажающая и ту и другую. Выжить можно лишь сопротивляясь лагерному порядку принудительного, насильственного вымирания. Обречено все живое, если оно связано общим кровообращением с этой — нет, все-таки не жизнью, но — антижизнью. Назову условно этот порядок антижизни словом Лагерь — с большой буквы. И ему противостоит — Человек.

И весь сюжет, если всмотреться, — это сюжет сопротивления живого — неживому, Человека — Лагерю.

Лагерь создан ради убийства. Нацелен на погубление в Человеке его главного — внутреннего мира: мысли, совести, памяти. «Здесьняя жизнь трепала его (Ивана Денисовича) от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний... И вспоминать деревню Темгенево и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов».

Так кто же кого: Лагерь — Человека? Или Человек — Лагерь? И многих, страшно многих Лагерь победил, перемолол в пыль. Лагерную пыль.

Сразу же, начиная повесть, расслаивает Солженицын два эти несовместимых мира.

Шухов «никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему». А почему не просыпал? Потому что «до развода было часа полтора времени своего, не казенного». Рядом с мертвым, убогим, убивающим человека «казенным» временем, его неволей, есть свободное, свое, время. Оно, собственно, и есть жизнь, потому что оно — вольное, свое.

С этих строк начинается сосредоточенное раздумье о главном, начинается состязание между волей и неволей, «своим» и «казенным».

Состязание это тяжелое, потому что в лагере все перепутано: даже «свое» и «неказенное» по-настоящему далеко не всегда может быть названо вольным. В лагере и свое зачастую тоже — не свое. Оно служит простому физическому выживанию (но может служить и духовному, если не переступать тех границ, которые точно и жестко установлены в памятных словах «старого лагерного волка» Кузёмина).

Иван Денисович идет через подлые искушения Лагеря, которые могут быть сильнее или слабее, но — неотступны. Через весь этот бесконечный день разыгрывается драма сопротивления Лагерю.

Одни побеждают в ней: Иван Денисович, Кавторанг, каторжанин X-123, споривший с Цезарем, Алешка-баптист, Сенька Клевшин, Павло-помбригадира, сам бригадир Тюрин, фигура могучая и сложная...

Но судьба иных колеблется, а иные прямо обречены на гибель. Тут неопределенны или безотрадны многие прогнозы: чем кончат кинорежиссер Цезарь Маркович, шакал Фетюков, десятник Дэр и другие зэки, особенно из «придурни»?.. А кое-кто, если и сберегает себя, то береженье их на чужой крови — как у «суки» Пантелеева, живущего за счет бригады, но «закладывающего» своих однобригадников...

Жизнь жестока. Здесь, в лагере, она особенно беспощадно преследует все человеческое. И насаждает нечеловеческое.

...Что же в людях, в их душах делает выбор? Об этом думаешь, читая «Один день», думаешь — прочитай.

С утра недомогает Иван Денисович: «Хотя бы уж одна сторона брала — или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни сё». Но — как писал Твардовский, «Одно дело — просто тело, а тут — тело и душа». И это состояние внутренней борьбы (в которой у Ивана Денисовича в общем довольно легко побеждает душа) проходит через всю повесть — от первой до последней страницы.

Лагерь на каждом шагу и всеми способами пригнетает человека. Он обесмысливает любое здравое и разумное человеческое действие. Скажем, ведет Ивана Денисовича

надзиратель Татарин мыть полы в надзирательской. Но сами же охранники почитают ненужной чистоту, а мытье полов занятием излишним: «Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвертый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда».

Что ж, думает про себя Иван Денисович: «Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху.

А иначе б давно все подошли, дело известное».

И таких уроков на каждом шагу — не счесть. Лагерный мир вообще несовместим с настоящей работой. Поэтому он всегда на работу покушается и постоянно ее губит. Отношение к работе становится в повести одной из главных граней понимания человека, его оценки.

Это определяет взаимоотношения людей в лагере, в шуховской 104-й бригаде. «Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, 271 а внутри шибко неровно — ступеньками идет».

На одной из нижних ступенек — Фетюков, на средних — Иван Денисович. Вообще говоря, иерархия есть в любом сообществе. Но здесь она — своя и, в общем, более истинная, чем на «воле». «Шакал» Фетюков, приспособленец и халтурщик, там на машине ездил, большим начальником был. Иван Денисович там — «серый мужик», с точки зрения начальствующих Фетюковых. Здесь их всех уравнила, а затем и перестроила другая жизнь, где меньше лжи и иллюзий, меньше условностей, мешающих видеть суть происходящего.

Отстаивать свободу в каторжном лагере — значит как можно меньше внутренне зависеть от его режима, от его разрушительного «порядка». Принадлежать себе. «Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Поэтому ест Шухов «медленно, внимчиво». В этом тоже — освобождение. Человек может, должен отстаивать себя во всем, в каждом движении. Он воюет с Лагерем на любой «площадке», ибо и Лагерь повсюду отнимает у Человека свободу жить для себя, быть собою. «Не подставляться» Лагерю нигде — в этом тактика сопротивления. «Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтобы никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только». Ибо человеческий контакт: лицом к лицу — у Человека и Лагеря невозможен.

Но Шухову свое настоящее лицо скрывать все же трудно. Тут, видимо, существует такая грань, за которой лагерная мимикрия, маскировка могут привести к утрате лица. Поэтому — как ни себе на уме Иван Денисович,— он и прост, и открыт, естествен, совестлив, привык «брать на себя», не утруждать других. Таким он и был — русский крестьянин, человек глубинной народной породы. Мы чувствуем, что он во многом близок самому Солженицыну. «Один день Ивана Денисовича» — вещь сказовая. Говорит, видит, думает, действует русский крестьянин Иван Денисович. Но слитно с ним, во внутреннем согласии звучит и голос писателя, которому не нужно было делать особого усилия, чтобы взглянуть на мир глазами мужика. И в этом обнаруживается их природная близость, сходство их по сути. И законы жизни Ивана Денисовича во многом, в главном, есть его, Солженицына, законы.

Крестьянская жизнь, ее обычай, заложенный в генах ли, в душе ли, не дают, например, Ивану Денисовичу ссылаться на болезнь, «надеяться на санчасть».

Придя к фельдшеру, он о болезни говорит «совестливо, как будто зарясь на что чужое». «Шухов был не из тех, кто липнет к санчасти».

И тем не менее — работа лагерная так тяжела и, главное, бессмысленна, что всякое освобождение от нее — благо: «Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три, не насмерть и без операции, но чтоб в больничку положили,— лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым — лады».

Но не решился освободить Ивана Денисовича мнимый фельдшер, студент Литинститута Коля Вдовушкин («Теплый зяблого разве когда поймет?») — внутренне укорил его Шухов).

...И снова охватывает читателя чувство абсурдности, призрачности происходящего по воле Лагерь: и молодой поэт, почему-то в лагерной больничке дописывающий недописанные на воле стихи; и крестьянин Шухов, с фронта, с войны, привезенный когда-то на лесоповал... Да и сами охранники, конвойные, русские люди, которым в мороз стоять на вышках и охранять — кого? И зачем?

Какое расточительство народных сил, какая бессмыслица! Что за разбойничья орда захватила страну и натравила одну часть народа на другую?! (А ведь и «тоже им, — думает Иван Денисович об охранниках, — не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться». Вот именно: им-то особенно бессмысленно; работяги-то хоть делом каким-никаким заняты, а они?!)

Вот бригадир 104-й Тюрин Андрей Прокофьевич, крестьянский сын, к началу 1951 года «девятнадцать лет сидит».

Первый шуховский бригадир Кузёмин к сорок третьему году уже двенадцать лет сидел.

А сам Шухов, у которого восьмилетняя «катушка» уже «на размоте»... Кто они такие? Враги? Да разве не видно, что все они из самой глубины русской народной жизни. Они и есть народ! Одни насильственно вырваны из жизни в годы кровавой «сплошной коллективизации». Другие — длинными руками ГУЛАГА выхвачены для рабского лагерного труда из военного потока.

Тем ли, своим ли делом заняты в Лагере крестьяне, землепашцы? А кавторанг Буйновский, «звонкий морской офицер»?

А что делают в Лагере художники (и их мы там встречаем)? «Пишут для начальства картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера писать». Еще одна абсурдная краска во всей картине лагерного абсурда. В том ли назначение художника?! «Веленью Божию, о муза, будь послушна...»! Нет, писать начальству бесплатные картины — вот вам и все искусство.

Бессрочный, бесконечный абсурд, тяжкий, страшный сон, через который прошел многострадальный народ наш; темная ночь нашей истории, полная безумных кошмаров.

...Читаем дальше, идем следом за Иваном Денисовичем к «шмону», где всем выходящим из «зоны» устраивают обыск. Тут, на «шмоне», за пререкания с обыскивавшими надзирателями кавторанг Буйновский получает десять суток строгого карцера. Из-за чего же лейтенант Волковой «черной молнией передернулся»? Нет, не в том вовсе дело, что творящие произвол «статьи девятой» не знают. Не в законе дело, на закон им всем плевать. Прямого слова нравственного протеста они, как черти молитвы, не выносят. «Вы не советские люди! — долбаёт их капитан. — Вы не коммунисты!» Ах так! Людей тебе подавай! Вот и получай за это десять суток. Хорошо, если вынесет Кавторанг, не «загнется»...

Но именно человеческие оценки единственно значимы в том мире, который создал Солженицын. И нравственный, духовный суд над всем происходящим, думается, — его главная цель как художника.

Осознание подлинной ценности человеческой жизни противостоит жестокой бессмыслице, чудовищному в своей привычности надругательству над людьми, над жизнью, над здравым смыслом. Вот конвой ведет тщательный пересчет «по головам» всех заключенных: «человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь». Что может быть большим издевательством над самим понятием о ценности человека? Словно бы происходит возврат к допотопному варварству и людоедству.



...Идет колонна эков на «объект», и все погружены в свои невеселые мысли. Стал думать не о лагере — о доме и Иван Денисович.

И выясняется, что на «воле» тоже нет прежнего порядка, а есть новый, в сущности, не столь уж отличающийся от лагерного. «Воля» тоже превращена в своего рода «зону». Настоящим делом мужики-односельчане не заняты; в колхозе работать некому — все любой ценой бегут из колхозной неволи. Но процветают халтурщики-«красили». Нелепо все это, совсем как в Лагере...

Как ни странно, но в лагере Шухов чувствует себя душевно более твердым, чем на этой непонятной ему «воле», где «вольным» приходится изо дня в день кривить душой и изворачиваться, в то время как лагерник Шухов «никогда никому не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился». И легкий паразитический промысел «красилей», изготавливающих из простыни «ковры» по трафаретам, для него — дело крайнее: если уж из-за лишения прав никуда не пустят и настоящим делом не дадут заниматься — «тогда впору хоть и за ковры». Абсурдному, бессмысленному духу Лагеря — в «зоне» ли, на «воле» — может противостоять или здоровый народный инстинкт самосохранения, врожденное нравственное чувство, еще не забитое, не замусоренное ложью и халтурой. Или — осознанное личное духовное сопротивление, берущее свою силу из тех же истоков, защита Человеком суверенности своего внутреннего мира. А духовная нестойкость, наивная, послушная приспособляемость и на «воле», и в Лагере одинаково опасны. Поклонение торжествующей догме, вера в миражи и там, и здесь не спасет никого, но лишь погубит рано или поздно.

В меньшей мере губит согласие с обесмысленным трудом.

Изо всего этого складывается «лагерный синдром», который все время нужно преодолевать усилием души. («Ну скажи, Ваня, если б начальство умное было — разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?») — возмущается латыш Кильгас, напарник Шухова по каменщицкой работе.) Но есть еще, сохранился в Шухове народный «ген» трудолюбия. Вот не может он работать, как и все поколения его предков, спустя рукава, халтурно! Началась работа — и «как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило».

И в этой работе — противостояние Лагерю. Шухов может поддакивать, когда слышит слова Сеньки Клевшина: «Будешь залупаться, пропадешь». Но перетолковывает их по-своему: «Это верно. Кряхти да гнись. А упрешься — переломишься». «Кряхти да гнись», — а для этого нужно больше силы и стойкости, чем для того, чтобы «упираться»...

Лагерь отбрасывает естественные человеческие отношения, выстраданные, выработанные тысячелетиями культуры. Он насаждает атавистические моральные и социальные формы. Уводит в первобытность, не в каменный век даже, а в джунгли. «Кто кого может, тот того и гложет». Разложение и распад — в самом основании Лагеря: «И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкалывают». И эта зараза, заложенная в системе ГУЛАГа, расплзается повсюду, давая свои отростки и метастазы далеко за пределы «зоны», утверждаясь на воле: в производстве, в культуре, в отношениях людей.

Так что «Один день Ивана Денисовича» — это, как говорится, срез через все главные узлы уродливой системы, созданной лжесоциализмом.

Лагерная система развращает людей и тем, что отказывает им в самостоятельном мышлении и поведении. «По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает — оно, будто, и легче...»

Шло год за годом великое разорение и здравого смысла, и самого умения думать. Но, как многократно свидетельствует тот же день, — за «начальством» не заживешься.

Поэтому нужно все время «кряхтеть да гнуться». И оставаться собою. И думать, и решать самому.

...А вопреки всей унижительной системе номеров — люди упорно называют друг друга по именам, отчествам, по фамилиям, пусть даже по кличкам. Встают перед нами лица, а не «винтики» и не лагерная пыль, в которую хотела бы превратить система людей. Люди и здесь живут, стремясь понять друг друга и поддержать, как могут.

Однако выживанию в Лагере нужно упорно учиться. Шухов, «закосивший» две миски каши, с удовлетворением видит, что одна из них пошла Кавторангу. «А по Шухову правильно, что капитану отдали. Придет пора, и капитан жить научится, а пока не умеет».

...И рядом со словами Шухова об этой миске насущной каши идет — в следующем эпизоде — разговор о такой же насущности и неподменяемости хлеба духовного.

В прорабской между Цезарем Марковичем, кинорежиссером, и Х-123, «каторжанином по приговору, двадцатилетником, жилистым стариком», идет спор о фильме Эйзенштейна «Иоанн Грозный». «Кривлянье, — с презрением и гневом говорит Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство... Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов». И — «подхватившись» — на слова Цезаря, что искусство — это — не «что», а «как»: «Нет уж, к чертовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!» Такое искусство, — говорит он, — это «перец и мак вместо хлеба насущного». Искусство не может замыкаться от мира людей в свои изыски. Существовать «мимо» реальной жизни. И словно бы совершенно о другом (а в сущности — о том же), идет разговор, когда вся бригада ненадолго сгрудилась вокруг печи, а бригадир Тюрин вспоминает свою жизнь. «Рассказывает без жалости, как не об себе». Он-то уже освободился от всех иллюзий и самообманов, постиг сущность той страшной системы, которая его, красноармейца, в 30-м году изгнала «из рядов», преследовала на каждом шагу, настигла и навсегда упекла в Лагерь (заметим, что и те военные, кто исполнял волю системы, тоже стали ее жертвами, ибо она живет насилием и питается людскими жизнями, душами, свободой)...

Освобождение от иллюзий, от самоослепления — вот что было необходимо и что ко многим пришло слишком поздно. Тюрин вспоминает ленинградских студенток-практиканток, приветливо отнесшихся к нему: «едут мимо жизни, семафоры зеленые»... Горькая и сочувствующая усмешка бывалого зэка, уже свободного от всеобщей слепящей лжи.

Так что особой ценностью, одним из главных инструментов освобождения становится правда. Сколько было их, обманутых, «едущих мимо жизни», полагающих при этом, что все пути им открыты?! В этом освобождении от духовной незрелости — «зелени» — еще одна линия обороны от насилия Лагеря.

И по многим другим линиям идет сопротивление: и в том, что стукачей резать стали; и в том, что в стычке с Дэрмом, охамевшим прислужником «системы», Тюрин заявляет: «Прошло ваше время, заразы, срока давать...».

Сопротивление и в том, чтобы «не залупаться» попусту (как это было у Кавторанга) и научиться противостоять порядку лагерной жизни. Так смотрим мы глазами не то Ивана Денисовича, а скорее автора, на Кавторанга, сидящего, разомлев с холода, в столовой — «такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрибельного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».

Но, как уже говорилось, давление Лагеря на человека — его душу, его тело — непрерывно и смертельно. Всем укладом своим он стремится смять, растлить, высосать как вампир, обессмыслить существование, оставив людям только звериное цепляние за жизнь любой ценой: «Подохни ты сегодня, а я завтра!»

Но вопреки всей этой порочной, поганой, порченной системе антижизни, люди живут. Работать в каторжном лагере, на каторжный лагерь, как говорилось, — бессмыс-

ленно, тем более работать хорошо, то есть для «системы» как для себя. Но тем, что Иван Денисович (а отчасти и вся бригада Тюрина) работают на совесть, умело и споро, они тоже сопротивляются, хоть на час, несвободе каторжного лагеря. Идет кладка стены; тут-то и выясняются настоящие отношения и «ценности». «Кто работу крепко тянет, тот над соседями вроде бригадира становится». Одно дело — Кавторанг, который упорно, запыхавшись, таскает носилки с раствором. И совсем другое — Фетюков, который халтуря, как «система» научила его, «носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести... Костьльнул его Шухов в спину раз: “У, гадская кровь! А директором был — небось с рабочих требовал?”»

Вообще, эпизод кладки описан так, будто перед нами поистине вольные люди, художники, настоящие мастера, слившиеся в одно с тем, что они делают и как они это делают. (Вот, кстати, ответ на вопрос о противоречиях «что» и «как» в споре Цезаря и X-123).

В руках, в деле каменщика Шухова все — не мертвое, но живое. «Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет».

А когда была закончена дневная работа — Иван Денисович переживает свой «момент истины», и никто на свете не может помешать ему: «Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Еще рука не старится».

Это — законная гордость внутренне свободного человека за дело, которое им выполнено как надлежит мастеру. Более того: «Так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

А за работой и все остальное в Шухове устроилось: когда день в главном уже позади, Шухов совсем иначе думает и о «санчасти»: «Время тратить! Перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат». Так завершается сюжет с «санчастью». Покончено с надеждой на то, что твои проблемы могут решить другие — доктора ли, начальники... Не решат! И за все отвечает лишь сам Человек.

Чем ближе к концу повести, тем отчетливее становится для нас, что главное в повести — спор о духовных ценностях. И с этой точки зрения все люди, точнее все зэки в лагере, делятся на «работяг» и «придурков». Иван Денисович — твердый «работяга». «Придурки» же — это лагерная обслуга — парикмахеры, кухня, санчасть и т. п. «Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у придурни меж собой спайка и с надзирателями тоже».

Без особого нажима, но заметно, с этой частью лагерников, отнюдь не вызывающих авторской симпатии, сближает Солженицын и тех интеллигентов, которые и в лагере продолжают жить иллюзорными, долагерными впечатлениями, все еще уповать на фикции и призраков. Не раз уже в этой связи упоминался кинорежиссер Цезарь Маркович. Встречается он в очереди за посылками (занятой для него Иваном Денисовичем) с неким знакомым — москвичом Петром Михалычем («и расцвели друг-другу как маки», — не без иронии отмечает про себя Шухов). О чем же они принимаются тут же толковать с увлечением? Оказывается, обсуждают рецензию в свежей московской «Вечорке» («Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского»). Так, может, и в самом деле — «интереснейшая»? Подумаем... Идет январь 1951 года. В литературе, на сцене, в кино катится поток лакированной серости. Ее ничто тогда не избежало, тем более театр, где царила сугубая казенщина ромашовско-софроновского толка. Не обминул ее и Ю. Завадский.

Именно об этом времени Твардовский писал в поэме «За далью — даль»:

И все вокруг мертво и пусто,  
И страшно в этой пустоте.



Так чем же наслаждаются наши интеллигенты? Опять «едут» мимо жизни? Правда, не все интеллигенты были такие, вспомним X-123.

И тут же, уходя из посылочной, думает Иван Денисович о том, как лагерное начальство пыталось все регламентировать — уж до такой последней степени затянуть жизнь своей уздой, чтобы даже за колючей проволокой заключенные могли передвигаться лишь в строю, но никак не поодиночке. «Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но у него не вышло, пузатого».

И на «воле», и в лагере шло с переменным успехом тотальное подавление всего живого; намеренное, унижающее своей нарочитой бессмыслицей. Нужно было раздавить человека, вызвать отупение и послушание, заставить принять несвободу как образ жизни. И радоваться ей. И только постоянное преодоление несвободы могло спасти в человеке Человека.

Начиная, может показаться, с самого простого.

Вот, к примеру, слегка обшучиваемое Иваном Денисовичем удовольствие от того, что еда горячая, что можно истово вникнуть в баланду: «Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его все трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живет зэк!». Конечно же, это ирония, ее нельзя не почувствовать... Но ведь и всерьез!

И понять можно, почему тут же и как будто бы никакой внешней логикой не вызванное пришло к Ивану Денисовичу другое чувство: «Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживем! Переживем все, даст бог, кончится!».

...И там же, в столовой, где сидит за своей баландой Шухов, получаем мы возможность еще раз подумать о свободе и несвободе в каторжном лагере.

Увидел вдруг Иван Денисович «старика высокого Ю-81» (собственно, мы не понимаем: он ли смотрит или — его глазами — сам писатель. По выразительности портрета, по интонации, ритму это место — единственное во всей повести).

Всмотримся и мы.

Мерно, замедленно, сурово, «внимчиво» ложатся слова: «Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрмам сидит несчетно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрлили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложку ко рту... Лицо его все вымотано было, но не до слабости фтиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стиранную».

Подумаем о том, что прочитали.

«Об этом старике говорили Шухову» — значит, старик этот всему лагерю ведом, среди всех заметен и выделен. Этому можно поверить сразу: и отличен он ото всех своей негнибаемой твердостью. Своей цельностью. Верностью какой-то идее.

Ничего не забывший, ни от чего не отступившийся. Нет сомнения, что Шухов смотрит на него уважительно. И это чувство передается нам. И все же... Есть все же в этом старике нечто настораживающее. От портрета веет осязательным холодком.

«Глаза старика не юрлили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое».

«Поверх Шухова»? «В свое»? А что для него — «свое»?

В вопросах этих, мне кажется, есть резон.

Может, и не стоит смотреть «поверх Шухова»? Ведь те, кто когда-то «сунул» самому Ю-81 первую десятку, тоже скорее всего «смотрели в свое» и «поверх него».

Видимо, все же настоящий Человек и настоящая свобода не совместимы со взглядом, устремленным 282 лишь в свое — каким бы стойким сам по себе человек ни был.

Хотя, повторяю, нет сомнения, что Шухов относится к нему не только с интересом, но и с уважением, даже почтительностью. А вот того понимания и отзывчивости, как в общении, скажем, с Алешкой, Кильгасом, Тюриным, Кавторангом, тут нет... Что, это недостаток Ивана Денисовича? А может, он как раз прав? Тем более что сам Шухов тоже сотворен из настоящего материала. Он тоже не особенно «юрлил взглядом», «не был шакалом даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался».

Похоже, что ненависть этот Лагерь, сам Ю-81 внутренне, увы, живет в другом Лагере. И смотрит оттуда поверх всех голов.

Допускаю, что это толкование фигуры Ю-81 — спорно. И все же мне кажется, что в контексте духовного спора, идущего в повести, позиция Ю-81 своей утрированной непримиримостью, подчеркнутой отделенностью вряд ли близка позиции писателя. Впрочем, тут есть над чем подумать.

У Ивана же Денисовича нет ни к кому ненависти. Даже — страшно сказать — нет враждебного чувства к охране, к тем, кто их конвоирует, кто ими командует. Он видит в них тоже жертв Лагеря. Понимает и, как говорится, «где-то» жалеет их.

И даже «шакал» Фетюков вызывает у него отнюдь не одну неприязнь: «Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить...».

И только лейтенант Волковой — один среди всех персонажей повести — целиком залит чернотой Зла. Это — воплощение Лагеря и его человеконенавистничества, особенно неутолимого там, где оно встречает открытое сопротивление Человека. Зло Волкового преследует и мстит Кавторангу за вспышку искреннего человеческого протеста. И мстит жестоко: «Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больницы не вылезешь».

...Завершает повесть тоже спор. Его ведет Иван Денисович с Алешкой-баптистом.

Но сначала о самом финале повести: «Засыпал Иван Денисович, вполне удовлетворенный... Прощел день, ничем не омраченный, почти счастливый». Не думается ли, однако, читателю, что здесь — горькая усмешка над жизнью в лагере, над самой этой «удовольствием»? Перед нами прошел день жизни в Лагере, вцепившемся лютой хваткой в человека — не в одного, так в другого. Не в Шухова, так в Кавторанга. На эту жизнь ни в чем положиться нельзя. Она враждебна человеку в каждый миг, подстерегает его на каждом шагу.

«Спасибо, — говорит Иван Денисович, — что не в карцере спать, здесь-то еще можно». Вот за что благодарит он свой минувший день...

И весь его завершающий спор с Алешкой-баптистом идет на этом фоне: спасения от карцера, от злобы Волкового, от голода...

Алешка-баптист находит большое утешение в своем Боге. Но этого утешения нет для Ивана Денисовича, потому что «молитвы те, как заявления, или не доходят, или “в жалобе отказать”».

Конечно, прав Алешка: молиться нужно «не о том, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном, чтоб господь с нашего сердца накипь злую снимал...».

Но ведь прав и Иван Денисович, перетолковывая все «символы» Алешки на житейский лад: молитвы — заявления, хлеб насущный — пайка, а сами молящиеся уподобляются поломенскому попу, для которого бог был ширмой, прикрывавшей корыстные интересы. Да, молитвы снимают с души злую накипь. Они облегчают жизнь этого

человека. Но — общую жизнь не облегчают, не «снимают» с нее злую накипь Лагеря. «В общем, — решил Иван Денисович, — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь».

И проповедь Алешки сама по себе хороша, и он — хороший, добрый человек, надежный товарищ. Но есть в нем один изъян: он принимает Лагерь. Он его даже по-своему и укрепляет: «Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!.. На воле твоя последняя вера терниям загложнет!».

Но Иван Денисович — от мира сего, он не хочет, чтобы взамен реального теплого дома, настоящей полнокровной жизни человек удовольствовался сознанием своей праведности в мученичестве. Чтобы взамен человека утверждалась идея страдающей избранности, которая хотя не замечает отдельных людей, но требует от них жертвоприношения.

Иван Денисович не согласен, что вина отделяется от человека, становится иррациональной, всеобщей. С этим крестьянин, земной человек Шухов согласиться не может.

«Идея» Алешки, при всей своей чистоте, позволяет существовать Лагерю. Эта идея по-своему тоже смотрит «поверх» человека, тоже «невидяще уперлась в свое». Тут ощутимо внезапное сближение двух крайностей: Алешки и Ю-81.

Многое и разное, как видим, сошлось в ГУЛАГе...

Закрываешь повесть с ощущением незаконченного спора. Спора сильных сторон, мощных доводов. Лагерь собрал множество незаурядных людей со своими голосами и лицами. Лишь безликие оставались вне зловещего внимания ГУЛАГа.

Но именно многоликость и многоголосие Лагеря и лишают кого бы то ни было из персонажей повести права быть единственным полномочным выразителем правды о Лагере и о сопротивлении Человека.

Александр Солженицын — художник эпический. Ему для выражения и воплощения этой правды нужны были все голоса. Они, вместе взятые, и должны быть услышаны.

Хотя голос Ивана Денисовича имеет право быть выслушанным раньше других.

И все они, по мысли писателя, могут быть собраны в одном неподкупном всеобъемлющем голосе. Глеб Нержин из романа «В круге первом» думает о том, что со временем люди, прошедшие через Лагерь, «облегченно затопчут свое тюремное прошлое... вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно, — и, может быть, никто из них не соберется напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческими сердцами!.. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть».

Такой Человек создал «Один день Ивана Денисовича».